

ПОЛЕВАЯ ЭКЛОГА

Стрекоза задевает волну
и тотчас устремляется кверху,
отраженье пуская ко дну,
словно камень, колодцу в проверку,
чтобы им испытать глубину
и захлопнуть над воротом дверку.

Но нигде здесь не встретишь ведра,
ни тарелки, ни банки, ни склянки.
Пустота, ни избы, ни двора,
шум листвы, ни избы, ни землянки.
Сруб колодца почти до бедра,
неумолчно кричат коноплянки.

Остается возможность во тьму
на веревке с шахтерской корзиной,
через блок перекинув тесьму,
распростившись глазами с низиной,
опуститься в «бадь» самому
в глубину на полет стрекозиный.

Пядь за пядью веревка из рук
вверх уходит, а звезд и не видно.
Черный мох напоздает вокруг
на венцы, так что все они слитно
растворяются в сумраке вдруг,
меж собой разделенные скрытно.

Но до дна не достать; и темно.
Вот и новый порядок смещений:
приближается сверху окно.
Мимо тянущих сыростью щелей,
словно камень, уходит на дно
отражение русских качелей.

Перевернут наперсток ведра,
шум листвы — словно гомон овечий.
Сруб избы достает до бедра,

да и церковь здесь в рост человеческий.
Под ногами чернеет нора, —
только ноют суставы предплечий.

Кто же ты, гулливер из лесов,
распростившийся с сумрачной пущей,
отодвинувший ногтем засов,
но протиснуться в дверь не могущий,
твердо помнящий принцип весов,
но из лужи из пригоршни пьющий.

Неужели считаешь и ты
(и ничто уж не сдвинет с решенья,
даже вкус и окраска воды),
что на дне стрекозы отраженье,
как и прежде, среди темноты
одинокое лежит без движенья.

Заморозь и куски раскроши,
но в осколках его не увидишь.
Разведи в ней костер, осуши,
но глазам не представится Китеж.
Или ветром ее оглуши...
Но ничем уж ума не насытишь.

Неужели, считаешь, она
холоднее и глубже колодца, —
ведь поверхность не слишком темна.
Но наперсток натянуть придется,
добираясь ладонью до дна,
чтоб не смог невзначай уколотся.

Если что-то над грядкой встает,
значит, каждый микрон в ней прополот.
Что ж, пошарь, пусть ладонь поснует
по грязи и почувствует холод.
Там, где плоть до воды достает,
дух еще и не брался за ворот.

Есть доска и найдется бревно,
возвести можно крышу над частью
этой лужи, пробить в ней окно
и со всею возможною страстью
устремиться мизинцем на дно;
но конек заскребет по запястью.

Где «колодец»? Дощатый этаж,
облака и листва без просвета,
мох, венцы, остальной антураж
не дают тебе больше ответа.
Где «колодец»? Молчащий пейзаж
неподвижно глядит на атлета.

Где же он? Видно, там, где весы
замирают, пусты, одинаки.
Может, там, где во время грозы
прибавляется только что влаги.
Или там, где биплан стрекозы
распростер свои крылья во мраке.

Долго ищешь. Пора бы найти
хоть обломок «пилотского» кресла.
Пару щепок веревкой срасти —
вот и крылья, лишь краска облезла...
Но не сбейся в сравнениях с пути:
стрекоза исчезает, исчезла.

Настоящий изгнанник с собой
все уносит. И даже сомнению
обладанья другою судьбой
не оставит, как повод к волнению.
Даже дом деревянный с трубой
не уступит крыльца наводнению.

Отраженья — тем более. Страх
их на тусклой поверхности косит.
Если плоть превращается в прах,
как о том же двойник не попросит.
«Уноси нас с собой на крылах».
Стрекоза их, конечно, уносит.

Нет, не тот изгнанник, кого
в спину ветер, несущий проклятья,
подгоняет, толкая его,
разрывая любые объятья,
в бедный мозг, где сознание мертво,
проникая сквозь ветхое платье.

Нет, не тот, кто виденьями полн,
начинает тонуть в половодьях,

как Назон возле сумрачных волн,
ненавидящий душу и плоть их,
словно бурей застигнутый челн,
проклиная их ропот. Напротив.

Это тот неумный пловец,
рассекающий грудью озёра,
шум листвы, словно гомон овец
различающий скрытых от взора,
над которым пернатый певец
распускает все краски убора.

Нет, не тот. И не тот, кто везде
даже собственной тени несносен,
кто себя не встречает в воде
меж верхушек листвяных и сосен.
И не тот, кто рукой в пустоте
шарит так, что под кожей просинь.

Настоящий изгнанник — никто
в море света, а также среди мрака.
Тот, чья плоть, словно то решето:
мягче ветра и тверже, чем влага.
Кто бредет по дороге в пальто,
меньше леса, но больше оврага.

Что ж. Замри и смотри в небеса
до поры, когда облачным пряхам
нужно вдруг превращаться в леса,
становиться оврагами, скажем,
набегая кустом на глаза,
обращаясь к сознанию пейзажем.

В близоруком величье своем,
с коим взгляд твой к пространству прикован,
скрыто чувство, что странный объем,
как залог тебе долгий, дарован,
что от всякой прогулки вдвоем
и от смерти вдвоем — застрахован.

Звук стучит по воде, словно плеть
(только брызги над ней не взлетают),
проникая поверхность на треть
(и круги растворяются, тают).

Невозможно рубцы рассмотреть.
Только тучи удары считают.

Коноплян... коноплянки кричат,
и Борей заглушить их не в силах.
Только срубы колодцев торчат,
как дома на татарских могилах.
Дует ветер, и волны мельчат,
и веревки бушуют в стропилах.

В низкорослой стране ты не весь
продолжаешь упорно круженье
(дом закрыт и в колодец не влезть),
где помимо законов сложенья
заключается главная спесь
в том, что в лужах здесь нет отраженья.

То ли слезы здесь глуше угроз,
то ль на волнах других, то ли тьмою
заглушается ропот берез.
То ли тот, кто здесь бродит с сумою,
ищет ос, а находит стрекоз
даже осенью, даже зимою.

1963(?)